



Её диагноз — он

Безумие как клятва верности

VIKTORIA VIKTOROVNA

Её диагноз — он

<https://litres.ru/74638987>

SelfPub; 2026

Аннотация

Безумие Мары — её клятва верности Хайдену. Не слова, не обещания, а сама её ярость, каждый дерзкий шаг, каждый удар, каждая секунда, когда она выбирает остаться рядом, хотя разум кричит бежать. Она рушит мир вокруг, чтобы доказать: она с ним. До самого края.

Она проникла к нему в душу не нежностью и не тихими признаниями — а тем, что не отводит взгляда, когда в его глазах загорается опасный огонь. Она видит его тьму и не дрожит. Видит, как он балансирует над пропастью, и вместо того, чтобы тянуть назад, встаёт рядом — с улыбкой, в которой столько безумия, что она ослепляет.

Это не любовь, которую поют в балладах. Это связь, выкованная в хаосе: где вместо «я тебя защищу» звучит «мы сожжём это вместе», а вместо «всё будет хорошо» — усмешка и рука, протянутая в темноту: «Держи. И не отпускай».

Мара теперь знает: её безумие — не слабость. Это её броня, её язык, её способ сказать «ты не один». И Хайден слышит это громче любых слов.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	15
Конец ознакомительного фрагмента.	27

VIKTORIA VIKTOROVNA

Её диагноз — он

Глава 1

Хайден

Сон всегда начинался одинаково.

Снег. Тихий, густой, падающий на Бруклин как белое одеяло, которое должно было укрывать, согревать, защищать. Снег, который пах детством — каштанами, горящими каминными, маминой выпечкой, которую она ставила на подоконник остывать, а он крал ещё горячей и обжигал пальцы. Снег, который до этой ночи означал уют.

Ему было десять. Пижама с динозаврами — мама купила на размер больше, сказала «вырастешь, как раз будет впору». Он так и не вырос из неё. Не успел.

Дом на Атлантик-авеню стоял тихий. Тёмные окна, тусклый свет фонаря напротив, скрип старой веранды. Сестра спала наверху — Хлоя, четырнадцать, с наушниками, из которых всегда что-то тихо лилось, джаз или что-то похожее. Отец читал внизу. Мать уже спала.

Хайден помнил — или сон помнил за него — как он лежал, укрытый до подбородка, и смотрел в потолок, где уличный свет рисовал дрожащие тени от ветвей. Ему было тепло

и хорошо. Ему было десять лет, и через несколько минут его детство должно было закончиться.

Звук был первым.

Не крик. Не выстрел. Звук — дверная ручка. Внизу. Кто-то повернул её медленно, с терпением, которое бывает только у людей, которые точно знают, что дверь не заперта. Или которым всё равно, заперта ли.

Потом — шаги. Тяжёлые, не скрипящие, а вдавливающие старые половицы так, что дом стонал. Не один человек. Три. Может, четыре. Хайден потом, через годы, считал по шагам, по дыханию, по теням — и каждый раз выходило разное. Сон не хранил точность. Сон хранил другое.

Отец услышал первым. Хайден видел это — не своими глазами с кровати, а так, как это бывает во снах, со стороны, сверху, с угла потолка, будто он уже стал призраком собственного дома. Отец поднял голову от книги. Снял очки. Положил их на столик рядом с лампой — аккуратно, медленно, так кладут вещи люди, которые понимают, что это последний раз.

Потом — голос. Не отца. Чужой, низкий, с акцентом, который десятилетний Хайден не мог определить, но который потом, через годы, научился узнавать в любом.

— Где деньги, Ричард?

Отец не ответил. Или ответил — Хайден не слышал. Сон обрывал звуки, заменяя их тишиной, которая была громче любого крика. Та тишина, в которой слышно, как снег падает

на окно.

Потом — первый выстрел.

Не как в кино. Без бах. Короче, суше, как щелчок по картонной коробке, только с эхом, которое осталось в стенах дома навсегда. Хайден — настоящий, взрослый, спящий в своей квартире через тринадцать лет — всё ещё слышал это эхо.

Отец упал. Мягко, как-то неловко, боком, и очки слетели со столика и покатались по полу, и лампа мигнула, потому что провод задела, и в этом мигании Хайден увидел — всё. Пятна на ковре, которые ещё не были красными, а становились. Руки отца, которые ещё тянулись вверх — не защищаясь, а будто пытаясь дотянуться до чего-то. До детей. До лестницы.

Мать появилась на лестнице. В ночной рубашке, босая, с волосами, которые днем были тёмными и блестящими, а сейчас — растрёпанными и странно седыми в мигающем свете. Она не кричала. Она сказала имя — «Хайден» — и потом ещё одно, которое он потом не мог вспомнить, сколько ни пытался. Может, «беги». Может, «спрячься». Может, «не смотри». Сон каждый раз подставлял новое слово, и каждое было правильным, и ни одного он не расслышал.

Второй выстрел.

Мать упала на лестнице. Не докатилась — застыла, на третьей ступени, одна нога ниже другой, рука на перилах, и перила держали её, как будто дом не хотел отпускать. Кровь потекла по дереву — медленно, впитываясь в старый лак, и

Хайден подумал — во сне подумал, и каждый раз думал заново — что мама будет недовольна, она же только отполировала эти перила на прошлой неделе.

Потом — шаги вверх. Тяжёлые, уверенные. За Хлоей.

И вот тут сон менялся. Вот тут Хайден — и маленький, и взрослый одновременно — пытался закричать, двинуться, встать с кровати, добежать до её комнаты, закрыть дверь своим телом, чем угодно. Но тело не слушалось. Десятилетний Хайден лежал, в пижаме с динозаврами, укрытый до подбородка, и смотрел в потолок, и тени от веток всё ещё дрожали, и это было так несправедливо — что мир снаружи выглядел так же, так мирно, так спокойно, пока внутри дома...

Третий выстрел. Выше. В комнате Хлои.

И ещё один. Контрольный — он тогда не знал этого слова, но сон знал.

Тишина.

Не тишина — отсутствие. Как будто из дома вынули воздух. Как будто вместе с тремя выстрелами вынули всё: тепло, запах выпечки, джаз из наушников, смех, завтрашний день, будущее.

Шаги спускались. Голос — тот, низкий — сказал что-то. Сон не дал слов, только интонацию. Будто подпись на законченной работе. Будто точка.

Дверь закрылась.

Снег всё падал.

Хайден проснулся.

Рывок — спиной, лёгкими, всем телом — будто его выдернули из воды. Сердце билось так, что он чувствовал его в горле, в запястьях, в кончиках пальцев. Подушка мокрая — не от слёз, от пота. Простыня скомкана, сброшена на пол, одеяло где-то у ног.

Тёмная комната. Его квартира. Не тот дом — другой, через тринадцать лет, через десятки адресов, через жизнь, которая не должна была сложиться так, но сложилась. Часы на тумбочке — 3:47. За окном — Бруклин, огни, шум дальний, ровный, безразличный.

Он сел на край кровати. Босые ноги на холодном полу. Голова в руки.

Три выстрела. Каждый раз — три. За тринадцать лет — тысячи раз. И каждый раз он не успевал встать. Каждый раз тело не слушалось. Каждый раз он лежал и смотрел в потолок.

Хайден поднял голову. Провёл ладонью по лицу — мокрому, горячему. Посмотрел на свои руки — большие, с костяшками, сбитыми десятки раз, со шрамом на правой кисти, которого не было в ту ночь. Ему было десять, и руки были маленькими, и он не мог ничего. Ему двадцать три, и руки были другими, и он всё равно не мог ничего — потому что тех, кого нужно было защитить, уже не было тринадцать лет.

Он встал. Прошёл на кухню. Не зажигая свет — он знал каждый сантиметр этой квартиры, каждый выступ, каждую

трещину в стене. Открыл холодильник. Свет ударил по глазам. Достал воду. Пил долго, прямо из бутылки, и холод текла по горлу, и на секунду — только на секунду — становилось легче.

3:52. До утра ещё далеко. До сна — не вернёшься, он знал. После этого сна сон не возвращается до следующей ночи.

Хайден закрыл холодильник. Темнота вернулась. Он приклонился спиной к стене, сполз по ней, сел на пол. Бутылка в руке, колени согнуты, голова откинута.

Тихо.

Где-то внизу — машина, сирена, голос. Бруклин не спал. Бруклин никогда не спал. Только Хайден спал — и во сне возвращался туда, в тот дом, в ту зиму, в ту ночь, где всё ещё падал снег и где три выстрела всё ещё звучали, и эхо их не затихало.

Никогда.

Мара

Утро в Бруклине началось не с будильника.

Оно началось с солнца — наглого, яркого, пробившегося сквозь жалюзи, которые Мара каждый вечер закрывала, а каждое утро они будто сами раздвигались, впуская полосы света на постель, на подушку, на лицо. Она морщилась, отворачивалась, натягивала одеяло на голову — и через тридцать секунд сдавалась, потому что сон уже ушёл, а солнце не умоляло, оно просто было.

Ей было девятнадцать, и она была из тех людей, которые просыпаются с мыслью, что день будет хорошим. Не потому что всё хорошо — а потому что она так решила. Это была её суперсила, хотя она сама не знала об этом.

Квартира на Генри-стрит — маленькая, студенческая, с окном, выходящим на кирпичную стену соседнего здания, но за углом — вид на Ист-Ривер, если высунуться и повернуть голову. Мара не высунулась. Она встала, почистила зубы, собрала волосы — длинные, прямые, светлые, почти белые на солнце — в хвост, надела чистую рубашку, джинсы, кроссовки. Посмотрела в зеркало. Серо-белые глаза — то ли серые, то ли белые, в зависимости от света, — смотрели на неё спокойно и серьёзно, как у человека, который ещё не понял, что этот день перевернёт всё.

Но она не знала этого. Она знала только, что сегодня — среда, и в среду в десять — патология, а в два — клиническая практика.

Кофе — растворимый, потому что на нормальный нет денег, но Мара пила его с таким видом, будто это был лучший эспрессо в городе. Бутерброд с арахисовой пастой — последний, завтра нужно в магазин. Рюкзак — тяжёлый, с учебниками, которые она читала не потому что задавали, а потому что хотела. Хотела стать хирургом. Хирургом — не терапевтом, не педиатром, не кем-то ещё, а именно хирургом, потому что хирург, по её мнению, был тем, кто исправлял то, что сломалось, и кто мог — мог буквально — спасти жизнь

своими руками.

Она захлопнула дверь, спустилась по лестнице — лифт не работал уже третий день, — вышла на улицу.

Бруклин встретил её шумом, ветром с реки, запахом кофе из соседней пекарни и криком торговца фруктами на углу. Мара улыбнулась — ему, городу, утру — и пошла.

Колледж — старое кирпичное здание на Декалб-авеню, с широкими ступенями и колоннами, которые выглядели важнее, чем были. Мара поднималась по ним, когда услышала голос.

— Мар! Мара! Подожди!

Она обернулась. Челси — рыжая, веснушчатая, с рюкзаком, который был раза в два больше её самой, — мчалась по ступеням, размахивая телефоном.

— Ты видела? — Челси ткнула экраном в Мару, ещё не дойдя. — Ты видела, что опять?

— Утро, Челс, — Мара улыбнулась. — Что я должна была видеть в восемь утра?

— Его. Опять.

— Кого — его?

— Ладно, дай сюда, — из-за Челси вынырнула Джесс. Высокая, тёмнокожая, с короткой стрижкой и выражением лица человека, который слишком устал от всего на свете, но всё равно не может отвести взгляд. Она перехватила телефон у Челси, развернула к Маре. На экране — новость, мелкий

шрифт, фотография. Размытая, сделанная издалека — ночь, фонарь, силуэт у машины. Мужчина, чёрные волосы, осанка, от которой даже на размытом снимке веяло чем-то тяжёлым.

— Хайден, — сказала Джесс, и произнесла это имя так, как произносят имя урагана — с уважением и тревогой одновременно.

— Кто? — Мара посмотрела на экран, потом на Джесс, потом на Челси.

— Кто, — повторила Челси, закатив глаза. — Мара, серьёзно? Ты живёшь в Бруклине или на Луне?

— В Бруклине, — Мара честно. — Но я не читаю криминальные новости за завтраком.

— Это не криминальные новости, это новости, — Джесс убрала телефон. — Хайден. Все его знают. Все его боятся. Прошлым месяц — угон, что-то с деньгами, кого-то избил. В этот раз — не знаю, что-то с автомобилем, аварией, опять мутная история. Не поймают, конечно. Никогда не ловят.

— Красивый, надо сказать, — Челси добавила, и в голосе её было что-то среднее между восхищением и страхом, который она маскировала весёлостью. — Ну, то есть если бы он не был... ну... тем, кто он есть.

— Красивый и бешеный — не лучшее сочетание, — Джесс скрестила руки.

— Я не говорю, что я с ним пойду пить кофе, я говорю, что черты лица у него правильные, — Челси защищалась.

— Черты лица, — Джесс покачала головой. — У змеи то-

же черты лица.

Мара слушала. Молчала. Смотрела то на одну, то на другую, и на лице её было то выражение, которое появлялось, когда разговор уходил в сторону, которую она не понимала, — не осуждение, не скука, а спокойное непонимание, словно ей говорили о чужом фильме, который она не смотрела.

— Так кто он? — спросила Мара наконец, и в голосе не было ни страха, ни интереса — только вежливое любопытство.

— Вор, — Джесс просто. — Всякое делает. Плохой человек, Мара. Большие связи, тёмные дела. Никто с ним не связывается, потому что — ну, потому.

— Потому что страшно, — Челси кивнула, и весёлость на секунду ушла, и осталось лицо девочки, которая слышала истории.

— Ладно, — Мара пожала плечами. — Заняться нечем, наверное, этим разбалованным миллионерам. Не о ком говорить — так о нём.

Джесс посмотрела на неё. Челси посмотрела на неё.

— Мара, — Джесс медленно, — он не миллионер. Он — это не игра. Это по-настоящему.

— Всё по-настоящему, — Мара сказала, и это прозвучало не легкомысленно, а так, как говорят люди, которые верят, что в мире больше добра, чем зла, и что каждый злой — просто запутавшийся хороший. — Пойдём, опоздаем.

И пошла — вверх по ступеням, в дверь, в коридор, на па-

тологию, в свою жизнь, где через несколько часов она наде-нет белый халат, возьмёт историю болезни, войдёт в палату, и на кровати, под белой простынёй, будет лежать человек, имя которого она только что услышала впервые и тут же за-была.

Хайден.

Она не знала ещё, что он проснулся в холодном поту в 3:47. Что ему снилось. Что ему было десять, и снег падал, и три выстрела всё ещё звучали. Что он сидел на полу кухни, прислонившись к стене, и ночь была длинной, и эхо не затихало, и он не верил никому, и был прав — и был неправ, и это должно было выясниться, но не сейчас.

Потом. Всё потом.

А сейчас — утро, среда, патология в десять, и Мара шла по коридору, и солнце светило в окна, и она улыбалась, и это был последний день, когда она улыбалась так — не зная.

Глава 2

Белый халат пах больницей.

Это был особый запах — не противный, не чистый, а конкретный, как будто ткань впитала в себя всё: хлорку, бинты, чужую кровь, чужой страх, — и носила его с собой, сколько ни стирай. Мара надевала его каждое утро, и каждое утро думала: вот, ещё один день, ещё один шаг к хирургии. Халат был ей велик — рукава доходили до кончиков пальцев, и она подворачивала их, и они всё равно сползали. В зеркале она выглядела как девочка, которая надела папину рубашку. Но ей было всё равно. Халат означал одно: она почти врач. Почти.

Клиническая практика проходила в больнице на Галл-авеню — мрачноватое здание, серый фасад, узкие окна, внутри — белые стены, гудящий свет, запах еды из столовой, который просачивался даже на третий этаж. Мара появлялась там каждый день к двум, сменяла ночную медсестру, забирала свои истории болезни, шла по палатам. Уколы, перевязки, проверка капельниц, записи в картах. Не хирургия — но рядом. Близко. Достаточно, чтобы чувствовать: она на своём месте.

В ту среду — через два дня после разговора на ступенях, после патологии, после утра, когда Челси тыкала ей в лицо размытой фотографией, — Мара зашла в ординаторскую, и

старшая сестра, Кэрол, протянула ей направление.

— Новая палата. 312. Тяжёлый, после ДТП. Неделью без сознания. Сегодня ночью начал приходить — еле-еле. Бор-мочет, толком не разберёшь. Посмотришь, запишешь, доложишь доктору Финчу.

Мара взяла лист. Имя пациента — разбухшее от воды, чернила поплыли. Она прищурилась. Первая буква — то ли Х, то ли Н. Дальше — не прочитать. Номер истории, дата поступления, диагноз: тупая травма грудной клетки, перелом трёх рёбер, сотрясение, множественные ушибы. Автомобильная авария. Ничего необычного — Бруклин, аварии каждый день.

— Как его зовут? — спросила Мара, вертя лист.

— В карте посмотри, — Кэрол уже отвернулась. — Или у него спроси, если заговорит.

Мара не спросила. Она не имела привычки заострять внимание на именах до того, как видела пациента. Имя — это было после. Сначала — человек. Так её учил доктор Финч, и с ним Мара была согласна полностью.

Палата 312.

Одноместная. Почему одноместная — Мара не задумалась, хотя обычно таких пациентов клали в общие. Может, свободные были. Может, тяжесть состояния. Она постучала, подождала три секунды — привычка, — вошла.

Свет. Белый, больничный, безжалостный — тот, который не оставляет теней, под которым всё выглядит хуже, чем

есть. Кровать посередине, тумбочка, монитор с ровной линией пульса, капельница. И — на кровати, под простынёй, наполовину приподнятый изголовник — он.

Мара остановилась в дверях.

Не от страха. Не от узнавания — она не узнала его, не могла, она видела только размытый силуэт на экране телефона Челси и тут же забыла. Она остановилась, потому что увидела — по-настоящему увидела — и что-то внутри замерло, как замолкает комната, когда входит кто-то, кому принадлежит тишина.

Чёрные волосы — короткие, с чуть взъерошенной макушкой, как будто он только что проснулся, хотя проснулся он неделю назад и неделю не выходил из пограничья между сном и явью. Лицо — обтянутое, острое, со ссадиной на скуле, которая желтела и синела одновременно, и с тёмными кругами под глазами, такими густыми, что казалось, будто кто-то провёл углём. Глаза — закрыты. Рот — приоткрыт, и из него шёл звук, который Мара сначала приняла за дыхание, но потом поняла: бормотание. Тихое, невнятное, на грани слышимости — как будто он разговаривал с кем-то, кого не было.

Мара подошла. Бесшумно — так, как учили: не разбудить, не испугать, дать пациенту почувствовать присутствие раньше, чем он откроет глаза. Она положила историю болезни на тумбочку. Проверила капельницу — всё в порядке. Посмотрела на монитор — пульс шестьдесят два, ровный. Наклони-

лась ближе.

Он бормотал. Она разобрала:

— ...не смотри...

И ещё — тише:

— ...беги...

И всё. Потом — только дыхание. Ровное, медленное. Как будто он сказал всё, что хотел, и снова ушёл.

Мара выпрямилась. Посмотрела на него — сверху вниз, в этот светлый, больничный свет — и почувствовала то, что чувствовала всегда, когда видела боль, но сегодня — сильнее. Жалость. Не та, которая сверху, не снисходительная — та, которая снизу, которая поднимается из живота к горлу и сжимает его. Жалость, которая говорит: этот человек несчастен, и он не скажет об этом, и ты должна увидеть сама.

Она записала в карту: «Пациент в сознании не пребывает, периоды бормотания, слова неразборчивы, отдельные фразы. Пульс стабилен. Рекомендован продолженный мониторинг.» Положила ручку. Ещё раз посмотрела на него. И вышла.

Дни шли. Мара приходила каждый день — к двум, иногда раньше, если закончила другие палаты. Палата 312 стала частью рутины: войти, проверить, записать, выйти. Но в отличие от других палат — здесь она задерживалась. Не потому что нужно было. Потому что — хотелось.

На третий день его глаза открылись.

Не резко, не с рывком — медленно, как будто веки были

тяжёлыми, как будто он тащил их вверх, как тянут что-то, что не хочет двигаться. Мара стояла у тумбочки, перелистывала карту, и краем глаза увидела движение — и обернулась.

Глаза. Чёрные. Не карие — не тёплые, не коричневые, не те, в которых есть свет. Чёрные. Полностью. Как провалы. Как два отверстия в лице, через которые видно только темноту — и ничего за ней. Они смотрели на Мару, и в них не было ни узнавания, ни вопроса, ни интереса. В них не было ничего. Пустота — живая, дышащая, тяжёлая. Как у человека, который давно вынул из себя всё, что можно вынуть, и осталось только тело, которое забыли выключить.

— Доброе утро, — сказала Мара.

Он не ответил. Глаза — не моргнули. Просто смотрели. И в этом взгляде было что-то, от чего нормальный человек отступил бы — шаг назад, к двери, в коридор. Мара не отступила. Она стояла, и смотрела, и ждала.

— Меня зовут Мара. Я студентка-практикантка. Я буду ухаживать за вами, пока вы здесь. Сегодня четверг, вас привезли неделю назад после аварии. Вы в больнице, в Бруклине. Вам безопасно.

Она говорила так, как учили — спокойно, медленно, без давления. Давать ориентиры. Имя, место, время. Чтобы человек, вернувшийся из темноты, мог зацепиться за что-то реальное.

Он не зацепился. Глаза — те, чёрные, пустые — смотрели и не видели. Или видели, но им было всё равно.

— Вы можете моргнуть, если меня слышите, — Мара мягко.

Ничего. Секунда. Две. Три. Потом — моргнул. Один раз. Медленно, как будто соглашался не потому что хотел, а потому что это было проще, чем продолжать молчать.

— Хорошо, — Мара кивнула. — Я вернусь.

Она вышла. В коридоре остановилась, прислонилась к стене, закрыла глаза. Сердце билось быстро — не от страха, а от чего-то другого. От ощущения, которое она не могла назвать, но которое поселилось в груди, как будто что-то маленькое и тёплое свернулось там и не собиралось уходить.

Она вернулась в ординаторскую. Открыла карту. Имя — в этот раз читалось. «Хайден Кросс». Она прочитала, не узнав. Прочитала ещё раз. Хайден. Где-то слышала? Нет. Не помнит. Обычное имя. Обычный пациент. Обычная работа.

Она не знала. Она просто не знала.

На четвёртый день она попросила его написать имя.

— Хайден, — она стояла рядом с кроватью, ручку и блокнот протянула. — Мне нужно заполнить ваши данные. Вы можете написать? Ваше полное имя, дату рождения, что угодно — что сможете.

Он смотрел на ручку. Потом — на блокнот. Потом — на неё. И в его лице — впервые — что-то сдвинулось. Не эмоция — тень от эмоции, как отражение облака в воде, которое видно, но не ухватишь. Что-то мелькнуло и ушло.

Руки не поднялись. Лежали на простыне — большие, с

косячками, сбитыми так, что кожа на них была грубее, чем у двадцатитрёхлетнего должна быть. Шрам на правой кисти — белёсый, старый, неровный. Руки, которые знали вещи, о которых Мара не догадывалась.

— Я помогу, — Мара придвинулась, положила блокнот ему на колени, ручку — рядом. — Когда будете готовы.

Он не взял. Не написал. Не ответил.

Мара не настаивала. Она записала в карту: «Пациент в сознании, реагирует на речь минимально. На просьбы не откликается. Моторная функция в норме, сознательное движение конечностей наблюдается. Психологический статус требует оценки специалиста.» Закрыла блокнот. Посмотрела на него ещё раз. Он смотрел в потолок — в ту точку, куда смотрят люди, когда внутри них что-то, чего они не хотят показывать.

— Я зайду позже, — сказала Мара.

Тишина.

На пятый день она попыталась разговорить его.

— Хайден, — она сидела на стуле рядом с кроватью. Не стояла — села. Не сверху, не свысока — рядом. Так, чтобы их глаза были на одном уровне. — Вам больно? Я могу попросить увеличить обезболивающее.

Молчание.

— У вас перелом трёх рёбер. Левая сторона. Должно зажить через три-четыре недели, если не двигаться резко. Вы везли машину?

Молчание.

— Знаете, — Мара улыбнулась, и улыбка была — не профессиональная, не больничная, а своя, тёплая, немного неуклюжая, как всё, что она делала. — Я тоже не очень люблю говорить, когда мне плохо. Но мне помогает, когда кто-то просто рядом. Даже молча. Так что — я просто посижу, ладно?

Она сидела. Он молчал. Минуты шли. За окном — Бруклин, шум, машины, жизнь. В палате — только пиканье монитора и дыхание двоих.

Через десять минут он заговорил. Первое — настоящее, не бормотание во сне — слово.

— Уйди.

Голос — низкий, хриплый, как будто горло не использовали неделю. Что было правдой — не использовали неделю.

Мара не ушла. Она посмотрела на него — он по-прежнему в потолок — и сказала:

— Не уйду. Мне нужно за вами следить. Это моя работа.

— Тебе — не нужно, — он сказал, и «тебе» прозвучало так, как будто он откусил слово и выплюнул.

— Мне — нужно, — Мара повторила, и в голосе не было обиды, не было страха. Была только ровность, спокойная и тёплая, как чай, который она пила по утрам. — Я остаюсь.

Он повернул голову. Медленно — как всё, что он делал, медленно, будто движения стоили сил, которых не было. Чёрные глаза — те, пустые — посмотрели на неё. В первый раз — по-настоящему. И в них, за пустотой, за темнотой, за

тяжёлым, непроницаемым — Мара увидела что-то.

Не гнев. Не злость. Не угрозу.

Грусть.

Такую глубокую, такую старую, такую вросшую, что она стала невидимой для всех — кроме, может быть, человека, который смотрел на мир глазами, которые искали в нём хорошее. Мара искала. Всегда. Это было её второй суперсилой, хотя она не знала и об этой.

Она увидела — и у неё перехватило дыхание.

— Что с тобой случилось? — тихо, почти шёпотом, и это была не врач. Это была Мара — девятнадцатилетняя, в большом халате, с серо-белыми глазами, которые сейчас смотрели на него и в которых было то, чего в его глазах не было уже тринадцать лет: «я вижу тебя».

Он отвернулся. К стене. Спиной к ней.

— Уходи, — снова, тише, и в этот раз — не грубо. Устало.

Мара встала. Поправила халат. Подошла к двери.

— Я приду завтра, — сказала она в спину.

Он не ответил.

На шестой день она принесла ему чай.

Не больничный — из пекарни на углу, нормальный, в бумажном стаканчике, с молоком и мёдом. Поставила на тумбочку. Села на свой стул.

— Хайден.

Он лежал, глядя в стену. Со вчерашнего дня — в стену. Не в потолок. В стену. Как будто потолок был слишком высоко,

слишком открыто, слишком похоже на тот потолок, под которым он лежал в десять лет.

— Я принесла чай. Он остывает.

Молчание.

— Я не буду спрашивать, что случилось. Не сегодня. Но я хочу, чтобы вы знали: я здесь. Каждый день. И мне не всё равно.

Она говорила, и слова звучали — не как речь медсестры, не как протокол, не как формулу из учебника. Как слова человека, который не умеет не заботиться. Который видит сломанное и хочет починить. Который ещё не знает, что не всё можно починить, — и от этого его забота сильнее, а не слабее.

Он молчал. Чай остывал. Мара сидела.

Через двадцать минут — когда чай уже был холодным — он повернулся. Посмотрел на стаканчик. Потом — на неё.

— Зачем, — спросил он. Не грубо. Не зло. С вопросительной интонацией, которая звучала так, будто он действительно не понимал.

— Затем, что вам плохо, — сказала Мара.

— Мне — не плохо. Мне — нормально.

— Нормально — это когда пьют чай.

Он посмотрел на неё долго. Так долго, что Мара почувствовала, как щёки розовеют, и не знала — от чего. От взгляда, от температуры, от чего-то третьего, чему названия ещё не было.

Он не взял чай. Но — впервые — не отвернулся. И молчание, которое повисло между ними, было другим. Не пустым. Не глухим. Таким, в котором двое людей находятся в одной комнате и знают, что другой — есть.

Мара записала в карту: «Пациент демонстрирует первые признаки коммуникативной реакции. Речь ограничена, агрессивность умеренная. Психологический барьер выражен. Рекомендую продолжить наблюдение.» Закрыла карту. Посмотрела на него. Он смотрел в стену, но теперь — не спиной. Лёжа на спине, голова чуть повёрнута, и в профиль — ссадина на скуле, тёмные волосы, линия челюсти — он выглядел как кто-то, кого Мара хотела нарисовать, если бы умела рисовать.

Она не умела. Но запомнила.

Вечером, дома, Мара сидела на кровати и смотрела в стену. Не в потолок — в стену. Как он.

Челси писала — сообщения сыпались одно за другим, голосовые, мемы, новости. Джесс прислала: «Как практика?»

Мара ответила: «Нормально. Новый пациент. Тяжёлый».

Челси: «Тяжёлый как — состояние или характер?»

Мара: «И то, и другое».

Она положила телефон. Легла. Закрыла глаза.

Чёрные глаза. Чёрные. Пустые. И — за пустотой — грусть.

Она видела. Она точно видела. Не привиделось, не показалось — было. Грусть, спрятанная так глубоко, что он, наверное, сам забыл, что она там. Но Мара не забыла. Мара

видела хорошее в людях — это было её умением, её даром, её проклятием, — и в его глазах, за всей темнотой, за всем «уйди», за всем молчанием, она видела — не монстра. Не вора. Не злодея, которого боялся Бруклин.

Она видела человека, которому было плохо. И который не умел просить о помощи.

«Что с тобой случилось?» — спросила она его сегодня, и он отвернулся к стене.

Завтра она спросит снова.

Она не знала — ещё не знала — что ответ на этот вопрос длиннее, чем она может представить. Что ответ начинается с пижамы с динозаврами и заканчивается тринадцатую годами тьмы. Что за каждым «уйди» стоит эхо трёх выстрелов. Что его имя — Хайден Кросс — то самое, которое она прочитала в карте и не узнала, — это имя, которое Челси произносила на ступенях колледжа, и которое Мара пропустила мимо ушей, потому что была занята солнцем, утром и мыслями о хирургии.

Она не знала. Пока не знала.

Но завтра — завтра она придёт снова, сядет на свой стул, и будет сидеть, и будет разговаривать, и будет приносить чай, и будет видеть, и будет — просто будет — рядом.

И однажды — однажды — он повернётся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.